

Альманах "Рыболов- спортсмен"

№14 1960

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 796
ББК 75.5
А57

А57 Альманах "Рыболов-спортсмен": №14 1960 / – М.: Книга по Требованию, 2023. – 299 с.

ISBN 978-5-519-18526-4

Сборники художественных рассказов и хроник о рыбной ловле, а также советы по изготовлению снастей. Прекрасная возможность окунуться в атмосферу природы и быта той страны, в которой многие из нас родились и выросли.

Очередной выпуск альманаха содержит очерки о рыбной ловле, статьи учёных-ихтиологов, рыболовов-практиков и журналистов об актуальных проблемах, опыте мастеров и новинках рыболовного спорта...

ISBN 978-5-519-18526-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Анатолий Якэсин

СНОВА ЖИЗНЬ



Здесь проходила оборона.
И эта мирная река
Хранит еще металла тонны
Под слоем ила и песка.
Здесь были вражеские танки,
Взревев, переправлялись вброд;
Здесь мессершмитты наизнанку
Перевернули хлябь болот.
Следы внезапных артолетов
Видны на вековых дубах;
Сравнил прибрежные высоты,
Себя закапывая, враг...

...Но жизнь берет свое — и снова
Родная тихая река
Укрыта рощею дубовой —
Поднялся строй молодняка.
И снова в пестром оперенье
Над мелководьем кулики,
И снова тянут уток звенья
В полете бреющем с реки;
Опять снуют в ней шересперы,
Гоняя поверху плотву;
Гуляют стаи красноперок,
Кувшинки в заводях цветут.

Вновь коротают рыболовы
Тут летом ночи у костра.
И соловьи поют им снова,
И светит ясная заря...
Мы отстояли край наш вольный,
Тебя — родимая земля,
Лесов и рек твоих раздолье
И в даль зовущие поля!
Здесь проходила оборона...
Здесь птичьи песни нам звенят
О жизни, к миру возрожденной
Бессмертным подвигом солдат.

Ленинград

И. Денисов

ВОЛЖСКИЕ БЫЛИ

1. ИДИЛЛИЯ РЫБНОЙ ЛОВЛИ И КАК ЭТА ИДИЛЛИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПОСТОРОННИМИ



I.

В рыбной ловле есть особая, даже исключительная прелесть, которую понять в силах только тот, кто страстно влюблен в это дело.

Сидит, например, человек на берегу реки или озера, сидит час, другой — целые сутки! — и все смотрит и смотрит на спокойные, словно застывшие поплавки. И все внимание этого человека, вся его сосредоточенность, собранность направлены именно на эти вот простые, мертвые пробки от винных бутылок. И если долго не бывает поклевки, долго и глухо — однообразно торчат они перед глазами, человек тоже становится и скучным, и утомительно однообразным, как эти пробки, как пень или коряга.

Но вот поплавок дрогнул. Вдрогнул и человек. Вдрогнула ветка, трава под ногами... Поплавок качнулся, тронулся, пошел ко дну. Человек мгновенно подался вперед, рука его схватила удище... рывок! — и леса напружинилась; удище выгнулось, бултыхнулось что-то в воде, высоко и трепетно взлетело в воздух, ударилось о землю, забило и — все ожило: зашумели кусты, камыш, осока, по воде взволнованно пошли расходящиеся круги, настороженно вскрикнул кулик...

Ожил и человек. Он ребячливо радостен, и хотя вокруг нет ни души и ему именно это и надо, в то же время ему страшно хотелось

бы, чтобы кто-нибудь, хоть как-нибудь, но увидел его в данный момент.

Но это только момент. Вскоре он воровато оглядывается, досадливо морщится на ребят, плывущих в лодке, осторожно закидывает удочку и снова врастает в покой...

Какая это великолепная бессловесная идиллия!

II.

Одним из таких «запойных» рыболовов является и мой друг — Григорий.

Это — далеко не молодой, очень степенный, медлительный, страдающий одышкой человек. Он — мастер переплетного дела, этому обучает школьников, горд этой работой, любит ее, но говорить без усталости может только о рыбалке. И сколько удовольствия, сколько радости дает ему воспоминание о каком-нибудь удачном выходе, о вываживании язя или голавля килограмма эдак в два, который сорвался...

Мы с ним видимся редко — раз в месяц, может в два, — но всякая встреча начинается и кончается примерно одинаково.

— Здравствуй, здравствуй, — говорит он и улыбается. Улыбается той приветливой и в то же время недоумевающей улыбкой человека, который хотя и рад тебя видеть, но в чем-то ты ему помешал. Это уже не впервые, и мне все ясно. На лежанке, за печкой, спит жена его, она работает в родильном, сейчас отдыхает. Григорий все свободное время уделяет своим снастям, крючкам, она за это ворчит на него, и он делает все украдкой. — Ну, проходи, проходи, рыбачок...

Доставая из комода папиросы «Беломор», он осторожно заглядывает за печку и тихо говорит:

— А я только сейчас перебирал свое хозяйство... Весна, зуд на душе, пока ловить-то нельзя — хоть посмотрю маленько. Приобрел что-нибудь нового, нет? А я вот крючков достал — маленьких, тоненьких, на леща... Хочешь взглянуть?

Он закуривает, тянется к маленькому чемоданчику и снова заглядывает за печь.

— Иссякает, иссякает хозяйство мое, — говорит он, и так же, как всякий раз, снова раскладывает передо мной несколько крючков, блесен и лесок — Вот видишь, только и осталось...

— Хватит с тебя! — раздается ворчливый голос из-за печки, и Григорий вздрагивает. — Для тех пескарей, что таскаешь, и этого много.

Жена поднимается, она еще сравнительно молодая, свежая, энергичная, со смешливым взглядом. Григорий смущенно опускает глаза.

— Что ж, — говорит он сокрушенно, — и пескарь — рыба...

— Ры-ба... — Она смотрит на меня, на Григория и усмехается. —

Эх, вы — рыбаки! Тихо помешанные люди вы, и пользы от вас никакой и вреда тоже...

Григорий некоторое время сидит в замешательстве. Но азарт рыболова постепенно овладевает им, робость перед женой проходит, и мы около часа занимаемся воспоминаниями о лучших своих удачах. Конечно, все преувеличиваем, привираем, но это почти закономерно: когда человек вспоминает о прошлых днях, все уловы и поимки крупной рыбы у него как-то сливаются и получается такое впечатление, что вся эта рыба поймана почти в один день и без особого труда. Это своего рода галлюцинация.

— Да! — говорит он уже возбужденно, — тридцать денечков осталось до ловли. Скоро уж, скоро.

2. АКСЕН

...На воде, меж кувшинок и линеовой травки, строго стоят поплавки. Они словно замерли. Словно вросли в опрокинутое небо.

Вот уже с полчаса мы сидим удивленные и молчаливые: не единой поклевки! — тогда как до этого мы то и дело таскали плотниц, окуней и красноперок, шутили, смеялись и так косноязычно выражали свои радости по поводу только что запущенного третьего искусственного спутника земли, что даже бакенщик, молчаливый и угрюмый Аксен, не мог скрыть своей редкой и скупой улыбки. И для нас прекращение клева так странно, тем более, что рыба и по дну и в полводы ходит все так же, если не кучнее, что мы пожимаем плечами.

— Да что это, черт побери! — выходя наконец из терпения, говорит Григорий. Он нервно перезакидывает удочку.

— А это, скажу, не в пробыток: гроза будет, — басом вставляет Аксен. Он сидит на траве, чуть в сторонке, и, посасывая трубку, наблюдает за нами.

День весенний, теплый, ясный. Гроз еще не было, и это смущает меня.

— Почему же гроза? — спрашиваю. — Вроде бы рано.

— Кому рано, а кому нет, — философски спокойным тоном продолжает Аксен. — Одни сундуками уже в небо кидаются да еще и с собаками, а другим даже мячик не в пору. Кому какая сила дана. Н-да... Вот, примечай, — кивает он в сторону плеса. — Это старое русло. Волга когда-то была здесь. Тут всегда ветерок, вроде бы ропот. Вроде, мол, старушка-то на новую Волгу в обиде, а правильной — в зависти: разлилась, разгулялась, мол, молодухка, расхвалилась, мол, морями, да заливами, а я вот тут кисни. Н-да, капризничает Старица. Ропщет. И всегда так. И в любую погоду. А вот сейчас — тишина. Зря никогда не бывает так. Гроза или буря.

— Так, может быть, буря?

— Не-ет... Буря, когда оно — тихо, и все... А вот коли рыба не клюет, да осока в рост поднимается, — чуешь, земля-то почмокивает? — гроза. Беспременно гроза.

Волга вошла уже в межень. Она не шумит, не бормочет. Плеск ее маленьких волн хоть и звонок, но тих; как будто она рассказывает берегам о той поре своей юности — бурной, хмельной, озорновато-веселой, за проделки которой ей вроде бы и стыдно и все же приятно. Большая, спокойная, ровная, она осторожно качает на зыбях расплавленное солнце, улыбается ему тысячами брызг — ярких и светлых — и на сливах у дамб мурлычит какую-то тихую, нежную песню...

Вокруг — тишина; та удивительно чуткая, настороженная тишина, какая бывает на Волге лишь в раннее утро. Гудят пароходы, но далеко и редко; ритмично и скупно скрипят у затонов домкраты; печатая лапки на свежем песке, в разнорядной, словно жалуясь, пищат кулички... И все-таки тихо. Так тихо, что слышно, как чмокает грязь и из неё вылупаются свежие, голенькие, здоровые ростки прибрежной осоки.

— Д-да... Это — гроза, — продолжает Аксен. — А град, когда — трава в разные стороны — и в лежку, — вроде, мол, меньше побьет. Вот. Ну, что ж, пойти сети убрать что ли... А вы тут сидите. Сидите! Коль гроза — верное дело. Самая крупная рыба берет. Особо перед тем, как хряснет. Страшновато немножко, но ничего. Испытаете короткую радость.

Помолчав, он некоторое время смотрит на Волгу, на горизонт над кромкой заволжского леса, где только вчере и впервые прошла новая русская планета Земли, и, лениво поднявшись, в развалку уходит к своему посту. Густая, свежее-зеленая, еще молодая трава покорно ложится под тяжелыми ступнями ног его, долго не поднимаясь.

— Ну как, в самом деле будет гроза? — спрашиваю я Григория.

— Да ведь... черт ее знает. Так вроде бы неоткуда. — Он задумчиво провожает удаляющуюся фигуру Аксена. — А впрочем... мудреный мужик. Всю жизнь здесь, на Волге. И жилка такая в нем есть, словно барометр — чует. Подождем — увидим...

Солнце поднимается выше и выше. Выше поднимается и чистое ничем незапятнанное небо. Спокойная, словно присмирившая Волга уже не качает, а осторожно, как бы боясь расплескать расплавленный слиток отраженного солнца, держит его на поглубевшей глади воды. Рядом, у самого уха, покачивая ветку, между желтых, клейких, чуть распутившихся почек, которые так хорошо и сладко пахнут, беспокойно шумит мохнатый шмель.

Я закрываю глаза. Тишина. Марево... Воздух чистый, он млеет от запаха, и мной, как всегда, овладевает странное, полусонное, полубезбывчивое состояние... Далеко-далеко — где-то в городе — играет гармонист; в звуки его иногда умолкающей гармоники врезаются гудки пароходов. Справа, от Сормова, редко и глухо доносится грохот железа. Но все это — большое, внушительное — как-то заглушается гуденьем шмеля возле уха...

Проходит какое-то время, я не сплю, но нахожусь в том полусонном забытии, какое овладевает человеком, лежащим под солнцем

среди травы и кустов — сочных, свежих, пряно-душистых, набирающих силу и рост, — когда мысли и чувства человека, обогретенные лаской весны, уходят куда-то внутрь и, кроме ленивого кошачьего удовольствия, тебе ничего не надо. И от весны, и от тепла, от этой особой, необычайной тишины вместе со звуками гармоник, лязгом железа и визгом лебедек, сила и шум которых заглушаются гудением шмеля возле уха, особенно от слов — пусть не ласковых, но искренних, но верных — молчаливого и грубоватого Аксена о сундуках с собаками, заброшенных в небо, — так хорошо, так мило, что я лежу будто не на земле, а на травянистых, душистых, невесомых облаках и плыву и качаюсь...

Но человек обладает своего рода инстинктом. Когда на него пристально смотрят сзади и особенно сбоку, он обязательно обернется. Нечто вроде этого взгляда ощутил и я. И когда, помимо воли своей, открыл глаза, я удивился: вдали, на горизонте, над Сормовым, поднималась туча. Она была еще низко, но темная, с фиолетовым отливом, и казалась зловещей.

— Видал? — почти с испугом проговорил Григорий, глядя то на тучу, то на меня. Он, вероятно, давно уже смотрел в том направлении, но сущность, значимость этого явления понял только сейчас. — Аксена, брат, не обманешь, нет. Мудрый старик... А туча-то, тучища-то, а!..

— Может быть, — в будку?

— Не-ет... Не уйду. Коль Аксен уж сказал, не уйду.

Низом, задирая листья кувшинок, быстро прошел ветерок. Зашумела осока, беспокойно зашевелился жидкий красноватый тальник. Вода потускнела. Потом набежал еще ветерок, еще и сильнее и продолжительней. Поднятые листья кувшинок опрокинулись, затрепетали своей белой обратной стороной и от них побежала рябь по всей поверхности плеса. Вдали, где-то за Сормовом, глухо заворчало. Маленький, худенький серячок-куличок настороженно посмотрел в нашу сторону и быстро, как бы отряхивая мокрые крылья, полетел прочь.

Потом ветер внезапно стих. Большая, сизая, обгаренная солнцем, словно лава с пеплом и дымом, медленно, внушительно надвинулась туча. Иногда в густоте ее — темной, с седоватыми космами — глухо рокотало что-то, лопалось, предупредительно ворчливо вздыхало. Вместе с тучами и гулом, прямо на нас, из-за Сормова надвинулись сумерки.

— Гляди, гляди, — задыхавшимся от радости голосом, тихо простонал Григорий. — Гляди, потянуло...

И действительно, у Григория взяло. И взяла, безусловно, огромная рыба. — И лесу, и указку, и кончик удилица потянуло вниз, в сторону, — потянуло спокойно, неодолимо.

Григорий засек, попытался сдержать. Но удилице гнуло, гнуло и гнуло. Загудела, забрюзжала леса.. — Дзинь!.. — и взволнованный, чуть побледневший Григорий долго и безумно смотрел на обломанный кончик удилица...

Наступила тишина — большая, глубокая, величественно-жуткая, словно замерло все. Но через какой-то момент — и тучу, и землю, и Волгу переклестнуло яркое, ослепительное, зигзагообразное; сильный, порывистый ветер сверху вниз ударил в воду, отбросил мои удилища и — хряснул гром...

— Вот это да! Важно... — приходя, наконец, в себя, проговорил Григорий.

А я глядел на тучу, на космы ее и, завороченный тишиной и надвигавшимися сумерками, думал: «Эх, Аксен, Аксен, какая ты умница! И не мне бы, а тебе писать книги о красоте и прелести нашей русской заволжской природы. Какая сила, какое проникновение в суть мелочей, так тесно и глубоко связанных с великими свершениями в жизни...»

3. БЕЗДЕЛИЦА

Ночь мы проводили обычно у костра, на берегу, но сегодня холодно, сыро, особенно после сильного проливного дождя, и мы отправились в будку к Аксену.

Здесь, как обычно, мы растопляем печку, варим уху и кипятим тот несравненный обворожительный чай, который так хорошо, так живоительно пахнет смородиновой веткой. Здесь мы вспоминаем былое — то, что связано с Волгой, с рыбалкой, что всегда и неугасимо тлеет в каждом хоть раз подержавшем на удочке сильно сопротивлявшуюся рыбу. Здесь мы и мечтаем, мечтаем о том удивительном недалеком будущем, когда человек полетит не только на Луну, но и на Марс и на Венеру. Особенно об этих полетах хорошо говорит Аксен, — у него в уголке, над кроватью, целая груда книг и журналов «Знание — сила». Все свободное время он занимается ими — и нам очень странно, что этот молчаливый и угрюмый человек так умело и так поэтично расписывает действительность недалекого будущего. И пожалуй, больше всего мы пошли к нему на ночевку только поэтому.

Но когда мы вошли в будку и осторожно по чистому полу прошли к боковому столику, на котором под белой салфеточкой стоял новенький, поблескивающий лаком приемник «Родина», нам стало ясно: сегодняшней вечер испорчен, — Аксен сидел на своей лежанке и нервно, без цели, листал какой-то журнал.

В переднем углу, у стола, привалившись к стене, в вольной и небрежной позе сидел Николай Мокшанин. Это был закоренелый браконьер, и Аксен так ненавидел его, что от внутренней злобы не только мрачнел больше обычного, но даже чернел. И хотя Мокшанин все это видел и знал, он оставался спокоен. Худой, сутуловатый, с белесыми пустоватыми глазами, он часто заглядывал в окно, на улицу, где поблескивал вороненый бок легковой машины, которую, когда мы подходили к будке, как-то не заметили. Из-под нижней отвисшей губы виднелись его редкие гниловатые зубы, сквозь которые иногда он удивительно ловко, через стол, цикал

слюну на самую середину пола. Был он в шляпе, пальто и хромо-вых сапогах.

Рядом, прямо на полу (табурет был один, да и тот под Мокшаниным) сидели еще двое. Оба они были сравнительно молодые, прилично не по-рыбацки одеты, но такие небрежные, нагловатые и от пьянства должно быть настолько опухшие, что на круглых, широких лицах их, кроме узеньких щелочек глаз, ничего не было видно. Оба они курили дорогие папиросы, сонно и презрительно глядя в пустующий зев нетопленной сегодня печи.

И Мокшанин и эти двое прибыли, видимо, давно, — на столе стояла уже пустая бутылка, валялись обеды колбасы и сыра, а в лужах и ошметках грязи у ног их, разительно выделяясь на чистом надраенном полу, разбросано бесконечное количество седоватого пепла и изжеванных окурков...

Тихо, осторожно мы прошли в сторону, сложили рюкзаки и, стараясь быть незамеченными, присели на полу, возле самой стенки. Здесь по обычаю, несговариваясь, вынули свои сигареты и тоже закурили.

Григорий стал совать обгорелую спичку в обратную сторону коробки, долго при этом смотрел на свежие, чистые половицы, на окурки вокруг, потом призадумался, какое-то время держал коробку марки «Родопи» и вдруг — со злобой и неистовством — оставшиеся сигареты опрокинул в ладонь, сунул в карман, а пустой коробок поставил между мной и собой вместо пепельницы.

— Вот так! — сказал он умышленно громко.

Один из парней, сидящий у ног Мокшанина, кисло посмотрел на этот коробок, на меня, на Григория и, еще недокулив своей длинной, толстой папиросы, дальше обычного отбросил ее в сторону.

Аксен как-то разом проследил и за нами и за парнями, в глазах его промелькнула короткая улыбка, но она тут же сменилась жестокостью и гневом.

— А хамить-то, молодой человек, я бы все же не советовал, — проговорил он глухо. — Здесь не помойная яма.

Наступила тишина, и довольно долгая.

— До чего же все-таки изменилась наша Волга, вялым, сонливым голосом проговорил Мокшанин. — Бывало где-нибудь в омуток бросишь толловую шашечку и — целый ботник. А рыбешка-то, а! — Тут и язи, и голавли килограммчика по три, и стерлядка, — да какая — в аршин! — а иногда и осетр. А теперь...

— А теперь я б... стрелял этих гадов! — раздался вдруг сильный, взволнованный голос из-за печки, с лежанки. Обернувшись, я увидел крепкую, здоровую фигуру Андрея Петровича Родина, полковника в отставке. Он был не у дел, сильно контужен и последнее время увлекался рыбалкой. Здесь, как он выражался, приводил в порядок растрепанные батальоны нервов. Привалившись к стене, он сидел в уголке и злыми, блестящими глазами смотрел в сторону Мокшанина. Туда, за печку, мало проникало света, лицо его от этого казалось бледным, и только резко и отчетливо

виднелись глаза, да чернел его длинный и широкий шрам от глаза до подбородка.— Ясно? — стрелял бы,— повторил он с той же энергией.— Чтoб ни одного гада, ни одной подлой личности не было на нашей реке. Суровый, суровый закон нужен. И добьемся, добьемся такого закона, неправда! — всю эту нечисть выведем на чистую воду.

Не поворачивая головы, Мокшанин покосился в сторону полковника.

— Это ты ошибаешься, господин полковник,— сказал он сухо.— Расстрелы у нас отменены, а за такие дела, как, скажем наши, их вроде бы и не было.

— А зря. Не мешало б! — выкрикнул Родин.

— Может и зря, это дело не наше,— тем же недобрый тоном продолжал Мокшанин.— А что касается таких вот строптивых, как, скажем, ты, то... заволжье место глухое, случается и один ты бываешь... Так что...

— Ты мне не грозил! — выкрикнул вдруг полковник и сразу поднялся,— высокий, широкоплечий. Губы его покорило, задергало тиком левое веко и сильнее обычного побагровел шрам.— Да я тебя, цулик, вместе со всей твоей поганью...— И он так двинул печку, что она пошатнулась.

— Да зря вы, товарищ полковник,— примирительно заговорил Аксен.— Печку ведь только сломаете да нервы истреплете, а они,—он кивнул в сторону Мокшанина и его приятелей,— не стоят ни того, ни другого.— Полковник некоторое время глядел на Мокшанина, потом чуть успокоился и снова присел в угол, к стенке. И я еще долго видел, как часто и сильно тиком дергалось его веко. Потом он улегся.— Вот вы, гражданин Мокшанин,— вы извините, что гражданином вас обзываю, товарищем-то называть как-то не хочется, да, извините,— вот вы, гражданин Мокшанин, о рыбке речь завели: мало, мол, стало. Верно, мало. И об этом говорят и об этом пишут. А чего пишут-то? Фельетончики, забаву какую-то. Посмех какой-то. Рыба, мол, того, плачет и рыдает, только, мол, плачу ее никто не внимает. Ну и смеются, конечно. А смеяться-то не над чем. Плакать надо. Злوبيться и так кричать надо, чтоб это и там, в самом Кремле набатом откликнулось. О вас, браконьерах, о вас, любителях дарового, общенародного, надо кричать.

— Ну это ты, Аксен, загибаешь. Рыбку мы перевезть не могли. Подумаешь, шашечку бросим, другую...

— Во-первых, не шашечку и не другую ты на этой машине привез, а добрую сотню. Это уж точно. А потом не ты тут один. Я вас видел, да, видел. Во-вторых, браконьерные артели имеются — настоящие, узаконенные: подрывники наши, госпароходские. Пришвартуется эдакий буксиряк где-нибудь возле Яра, толу баржу — притом государственного, нужного — и ухают молодцы от зари до зари. Под видом углубления фарватера, а здесь глубина двадцать метров. Рыбы тонну наглушат и на базар ее на водку себе. А тонн

эдак двадцать низом, под днищем уносит. В протух. Это уж самое страшное.

— М-да... Может быть,— согласился Мокшанин.

И тут я заметил, что насколько сухо он говорил с полковником, настолько мягко, наигранно ласково с Аксеном.— Но вот у тебя-то здесь рыбка имеется. Это я знаю. Может быть... шашечку дашь опустить?

— Да ведь... рыбка имеется. Как чай, не быть. Токмо я на два километра даже тех вот узаконенных не подпускаю, а не то что каких-то Мокшаниных. И это ты знаешь.

— А... может, так, потихонечку... И мы бы с уловом и тебе бы уха.

— Ну что ж. Действуй. Руки тебе связать не могу. И кричать тоже не буду, как, скажем, полковник. Только... Здесь хотя и заволжье и место глухое, как ты говоришь, а — даже на машине своей от меня никуда не уедешь. Нет.

Мокшанин усмехнулся.

— М-да... Это верно. Добрый старик ты, а — страшноват. Он вздохнул и снова улыбнулся.— Ладно уж, договоримся. Как только утро и — шашь. Даже следа не оставим. Ну, а сейчас... рассказал бы Аксен какую-нибудь сказку, али глупость, ну про косметику там что ли. А то ведь ночь-то долга. Тоска несусветная, а тут еще и человек такой страшный за печкой...

Полковник за печкой резко повернулся, но промолчал.

— Тоску я твою понимаю, конечно,— тихо, без злобы, продолжал Аксен.— Можно сказать — чую. Вернее так. Наш работяга-волгарь попроще, конечно, городских-то. Особенно тонкокожих. У них прыщик вскочил где-нибудь на задней части, так они с ним всех ученых обславят. А я вот намерен почти с полфунта мяса отхватил на лапе, залепил глиной и — амба. Ничего, зажило. Без всяких фельшеров. Оно, конечно, я не против больницы, наоборот. Ну, если там баба родит, ногу отхватило, аль кишка выпадать вздумала. То дело другое. А что касемо с чирьем сладить...

— Чирий чирью разница,— вставил Мокшанин.

— Знамо! Ра-азница... Не хочется работать, вот он и выдумывает: то чирий, то еще что, а сам от этой безработной болезни деньгу зашибает, да такую, что у него и машинка вроде «Победы», и гараж, и приятели с такими похмельными мордашками, что их только бы на выставку...

— Ну, ну... ты это брось,— все также улыбаясь, перебил Мокшанин.— Машинка моя мне честно досталась. Ну, а что касается этих приятелей, то... ничего не скажу: морды у них точно... настоящие морды.

Оба парня вскинули глаза на Мокшанина, долго, очевидно соображая: что, мол, это — шутка или обида? — смотрели на него и, поняв, вероятно, по-своему,— так улыбнулись, что их лица с заплаканными глазами стали похожи на огромные шары грибов-дождевиков.